L&M

Я знал твои черты в домах конструктивистских,
И в силуэтах труб, и в оголовках шахт.
Так пахнет торфяной охряно-ржавый виски,
Так ёкает в груди, когда объявлен шах,

Так зреют за столом пустые разговоры,
Так падают огни с седьмого этажа,
Так запоздалый гость не прокрадётся вором,
И так свербит в ногах, что просятся бежать;
Так радугой блестит засвеченная плёнка,
Так в небе городском нет ни одной звезды
В дымах далёкой ГРЭС, под облачной клеёнкой,
Так время мчится вскачь, как Сивка без узды.
Четырнадцать часов прошли почти навылет –
Я не сошёл с ума, и с рельсов не сошёл.
Настанет новый день, и виски будет вылит.
Прости меня за то, в чём не был я смешон.
Я знал твои черты в домах конструктивистских,
В пыли обочин трасс и в смоге городов,
В чужих путях домой, неясных и неблизких,
Во всём, на что смотрел, во всём, на что готов.
...с утра заладил дождь, и стартер неисправен,
Похмелье из ружья стреляет по вискам.
Я знал тебя во всём, чему я не был равен,
И в том, что вдруг нашёл, хотя и не искал.

* * *

А дым плывёт над полою водой,
И пахнет непроросшей чередой,
И тучи тлеют на закатном гриле:

В них постоянство снеговой охры
И память ферментированных рыб;
Всё было так, как прежде говорили.

Поговори, поговори со мной
Как с половодьем к нам причалит Ной,
Заякорит ковчег, почти неслышим,
А наш с тобой прибрежный огород
Ему не знает равных воевод,
И радуга концом коснётся крыши.

И за заветы под косым дождём
Я буду, наконец, вознаграждён:
И вот, в прихожей, мокрый плащ снимая –
Ты с факелом погашенным в руке
И в мягком грозовом воротнике,
Но грозы будут лишь в начале мая.

* * *

Я купил билет до Москвы, а попал в Тюмень,
И оттуда на утлой бочке катился до берегов Байкала
Там с мячом Луны играет небесный тюлень –
Я тогда погасил фонарь, вылил масло и колбу разбил
о скалы.

Я прильнул на сентябрьский снег ледяной щекой,
Где за мысом встаёт рассвет – взъерошен и накрахмален,
А на льдах кучевых тюлень выводит своих щенков,
Кормит их молоком из сосцов грозовых наковален.

Цепь моих позвонков мороз легко расковал.
Скоро будет весна; я не чаю добраться до середины.
Бочка быстро сгнила, и на гальке остались одни слова:
Их покинутые щенки поют на пушистых льдинах.

* * *

Очень много, быть может, тысячу лет спустя,
Станет вдруг возможным попасться в сети знакомых улиц,
И привиться жилой на городских костях,
На бревенчатых стенах, что дремлют, слегка ссутулясь.

Через низкую облачность этот город не видит Бог,
И дожди на него насылает почти вслепую,
И теперь наступает ночь, и город впотьмах оглох,
И его не дозваться, сквозь морось бредя скупую,

И воды не испить с отсутствующего лица.
Вот, прищурив глаза, любой подтвердит учёный –
Ни в какой парадигме сей город не описать,
Нетождественный сам себе, сам на себя обречённый.

Только я не учёный, и к чёрту, стало быть, диамат,
Эту методологию всю, и тезис, и антитезис;
Пусть Затеевский на сторонах своих другие взрастил дома,
Но вдоль них по утрам всё так же гуляет его Лахезис.

И на месте стоя, хочется задышать,
Только поры на коже забились зловонным салом,
Из раздутых ноздрей-колодцев испаряется, бьёт душа –
Что же, Господи Боже, с воздухом этим стало?

Город спит, недвижимый, и по его спине,
Иссечённой крест-накрест асфальтовыми ремнями,
Бродят духи нечистые, не исходя в свиней,
И по нервам его проводов кочуют от ямы к яме.

В этот город прийти возможно, а выйти никак нельзя –
Ни верхом, ни пешком, ни по воздуху, тут хоть тресни.
Он лежит, сам собою в тугие объятья взят,
Догнивает в сыром ноябре под трамвайные песни.